

Ю.Стеклов

Воспоминания о якутской ссылке (1896 - 1899)

Приходится разворошить воспоминания молодости. Я бы, пожалуй, сейчас по собственной воле не стал заниматься этим делом. Но редакция «Каторги и ссылки», в лице тов. Виленского-Спбирякова, давно уже настоятельно требует от меня воспоминаний об Якутской ссылке. С другой стороны, того же требуют от меня и Истпарт. Волей-неволей приходится подчиниться.

Для «Каторги и ссылки» я выделяю ту часть своих воспоминаний, которая касается личного состава Якутской ссылки в моё время. О ссылке, вообще, писалось уже немало. Но, в частности, вопросу о личном составе Якутской ссылки как-то не повезло: на этот счёт имеется пока немного опубликованных материалов. Поэтому возможно, что даже мои беглые и отрывочные воспоминания, при всей их калейдоскопичности, анекдотичности и случайности, окажутся нелишними и дадут некоторые новые штрихи к характеристике старой (т.е. до 90-х годов прошлого века) Якутской ссылки. Только этой последней мои воспоминания и касаются. Об идейной стороне ссылкеной жизни, о столкновении мнений в ссылкеной среде, вызванном появлением «молодой» социал-демократической ссылки, равно как о борьбе тенденций в среде последней, я говорю в другой части своих воспоминаний, предназначенной для Истпарта.

Я лучше всех сознаю недостатки моих воспоминаний, предлагаемых ныне благосклонному вниманию читателей «Каторги и ссылки». Писаны они наспех и представляют в сущности клочки, обрывки, первоначальные наброски. По собственной воле я бы и не стал их печатать. Но некоторые товарищи находят, что они годятся и в настоящем виде. Пусть будет так. Но, заранее взывая к снисхождению читателей, я прошу рассматривать нижеследующие строки именно только как клочки и наброски воспоминаний, которыми впоследствии я, может быть, когда-нибудь займусь более систематическим образом.

Арестован я был в конце января 1894 года в Одессе¹. В июле 1895 г. пришёл приговор, в силу которого я высылался на 10 лет в Якутскую область административным порядком. Долгий срок ссылки не страшил. С одной стороны молодость, надежды на революцию, а с другой — мнящая мысль о том, что в Сибири встретишь «стариков», представителей прежнего революционного движения семидесятых и восьмидесятых годов. Они представлялись нам тогда какими-то допотопными гигантами, чем-то в роде героев-полубогов, выходцев из другого величественного мира. В частности я, изучивший историю прежнего революционного движения по всем доступным тогда (в начале 90-х годов прошлого века) источникам, главным образом, по старым легальным газетам и по «Правительственному Вестнику», где печатались отчёты о главнейших политических процессах, мечтал повидать тех людей, о которых я, впрочем, не знал, кто из них ещё остался к живых.

Уже по дороге нам начали попадаться старые ссыльные. Так, на пристани в Красноярске мы встретили Кречетовича, бывшего карийца (впрочем, это имя нам тогда мало говорило). Сидя в Красноярской тюрьме, мы ходили в город к фотографу, который снимал всех проходящих ссыльных. Я не помню сейчас фамилии этого фотографа, но от красноярских старожилов это нетрудно узнать. У него скопились сотни, чтобы не сказать, тысячи снимков, в которых отразилась в живых лицах вся история революционного движения, начиная с 70-х годов. Тут были и народники, и народовольцы, и всякие другие. Было бы жаль, если бы собранная им богатейшая коллекция пропала для истории. Во всяком случае, Испарту не мешало бы обратить на неё внимание, — и, быть может, ему удастся разыскать эту коллекцию. Мы тоже накупили разных фотографий, насколько это позволяли нам ограниченные средства. Я лично приобрёл портреты Войнаральского, Мышкина, Попко, Долгушина, Д. Рогачева, группу «Пролетариатцев» (Дулемба, Люрый, Маньковский, Рехневский и Феликс Кон). Многие из имевшихся в коллекции фотографий поразили меня своей одухотворённостью. Особенно врезалось в память лицо ссыльно-поселенца Лёгкого, который в 80-х годах

¹ См. мои воспоминания «Первая с.-д. пропаганда среди Одесских рабочих» («Минувшие годы». 1908 г. №9), а также сборник моих статей «Борцы за социализм. — Очерки из истории общественных и революционных движений в России». Изд. «Денницы», Москва, 1918 г. и Госиздат. 1923 г.

был казнён в Иркутске за попытку к побегу, сопровождавшемуся убийством тюремного надзирателя.

Говорят, что такие лица встречаются у обречённых. Но объяснение здесь более простое. Все эти деятели 70-х годов были по-своему апостолами. Принуждённые действовать в среде, тогда не дававшей отклика, они проникнуты были героическим, жертвенным пафосом. Маленькая кучка людей, бросивших дерзкий вызов старому миру, который располагал в то время неограниченными силами репрессии, сознательно шла на подвиг и на смерть во имя высокого идеала, сжигавшего их душу. Отсюда это героическое настроение подвижников, тем более, что первые борцы за народное освобождение состояли в большинстве из юношей, отрёкшихся от старого мира и отличавшихся высокой моральной чистотой. Это настроение и сказывалось на выражении лица тогдашних революционеров, ибо известно, что физиономия отражает психическое состояние и, по общему правилу, зависит от настроения и духовной деятельности индивидуума.

Одна из встреч со старыми ссыльными¹, особенно врезалась мне в память. Это было по дороге между Красноярском и Иркутском. Наша партия медленно подвигалась по дороге, пролежавшей посреди глухой тайги. Впереди шли пешие уголовные — каторжане и поселенцы в кандалах, а «общественники», т.-е. крестьяне, ссылаемые по общественным приговорам с семьями, без кандалов. За ними шагом подвигалось несколько подвод, отводившихся под вещи, под больных и под политических. Я с женой ехали на последней подводе. Неожиданно мимо нас промелькнул запряжённый тройкой тарантас, в котором сидели мужчина и женщина, державшая па руках ребёнка. Дело было под осень 1895 года. Тарантас уже промелькнул мимо нас, когда жена схватила меня за руку и инстинктивно обернулась, чтобы взглянуть вслед тарантасу. К моему удивлению, тарантас тоже начал замедлять ход и останавливаться. И что же оказалось? В тарантасе следовали из ссылки М.А. Брагинский со своей женой и с годовалым ребёнком.

П. Брагинская — родственница моей жены. Арестована она была в 80-х годах. Жена моя тогда была ребёнком, и, тем не менее, через много

¹ Впрочем, как увидит читатель, это не были «старики» в настоящем смысле этого слова. Они принадлежали уже к поколению эпигонов, сложившемуся после разгрома «Народной Воли» и работавшему во второй половине 80-х годов.

лет, случайно встретившись в сибирской тайге, они сразу узнали друг друга. Брагинские возвращались в Россию, уже отбывши каторгу (по известной «Якутской истории» 1889 года); мы же шли на ссыльную страду. Встретились как бы два поколения. Они уже были свободны, мы же — под конвоем. Я с женой соскочили с телеги и подошли к тарантасу. Замечательно, что конвой не стал нам мешать; только один солдат с винтовкой отстал от партии и молча стоял в стороне, наблюдая за нашей дорожной встречей, которая и ему должна была представляться необычной. Но долго разговаривать не приходилось. Бегло обменялись поцелуями и приветствиями. Брагинские взобрались на свою тележку и продолжили путь на запад, а мы с солдатом бросились догонять партию, идущую на восток.

Другая встреча была на одном из этапов, тоже между Красноярском и Иркутском. На каком-то этапе мы встретились с партией «обратников»: так назывались ссыльные, возвращавшиеся обратно в Россию. Обратники пользовались сравнительной свободой, мы же содержались под замком. И вот нам сообщили, что среди обратников имеется политический ссыльный. Это оказался рабочий, принадлежавший к кружку Петерсона, следовательно современник, а, может быть, и соратник Халтурина и Обнорского. Но он не обнаруживал особой охоты к разговорам и производил впечатление или очень серого или совершенно забитого человека. И вообще, впечатление от встречи с ним через волчок арестантской камеры на этапе осталось такое смутное, что я сейчас не могу даже припомнить ни его наружности, ни его фамилии. В общем, эта встреча произвела скорее тяжёлое впечатление, в частности на нас, марксистов, которые — особенно в то время — очень идеализировали рабочих-революционеров, да ещё таких, как старики-пионеры, деятели 70-х годов.

Но эти случайные встречные были не те «орлы», о которых мы столько слыхали и читали и которых хотелось увидеть во плоти. По дороге уже мы узнавали, что многие из этих стариков-ветеранов ещё живы, и что нам придётся с ними встретиться. Первая такая встреча состоялась в Иркутской тюрьме. Как-то мы узнали, что в Иркутске находится Яков Стефанович, знаменитый организатор Чигиринского заговора среди крестьян. Сейчас не помню точно, пришёл ли он к нам в тюрьму по собственному почину, или же мы просили его навестить к

нам. Но факт тот, что в один прекрасный день дверь в нашу камеру отворилась, и тюремный надзиратель пригласил нас на свидание с Я. Стефановичем. Как-то даже не верилось, что сейчас перед нами очутится живым и здоровым этот деятель старого поколения революционных народников, о котором мы знали, что он впоследствии примкнул к социал-демократам. Встреча наша была очень задушевна и трогательна. В тот момент мы ничего ещё не знали о тех тёмных сторонах деятельности Стефановича, в бытность его членом партии «Народной Воли», которая начала вскрываться только теперь¹. Для нас Стефанович был чуть ли не самым блестящим и выдающимся представителем революционного бунтарства 70-х годов, организатором первого широкого массового революционного заговора в деревне. Сейчас, когда с годами впечатления притупились, трудно передать тот восторг, с которым мы встретились со старым ветераном. Впрочем, назвать его *старым* никак нельзя было. В момент, когда мы с ним встретились, т.-е. зимой 1895 г., Стефанович был мужчиной во цвете лет, с жгучими чёрными глазами, с чёрной бородой, в которой, насколько я помню, совершенно не было седых волос. Он весело улыбался, с любопытством присматривался к молодым марксистам (наша марксистская группа была чуть не первой, попавшей в восточную Сибирь), внимательно расспрашивал нас про настроение в России, в частности среди рабочих. Но, разумеется, подробно поговорить в тюремной конторе не пришлось. Приятно было только встретиться с представителем поколения, нам предшествовавшего, с одним из основоположников группы «Освобождение Труда», с товарищем Плеханова, Дейча и Засулич. Между прочим, несколько расхолаживающее впечатление произвело на нас то обстоятельство, что, как мы убедились из разговора, Стефанович не очень-то твёрдо стоял на марксистской почве. В частности, он расхваливал «молодого народовольца» Юделевского, который, по его словам, построил крайне оригинальную систему, направленную против марксизма и сильно его подрывающую. С этим Юделевским он настоятельно советовал нам познакомиться. Восторг Стефановича перед Юделевским нас сильно удивил,

¹ Я имею в виду записку по истории революционного движения, которую Стефанович в заключении писал для департамента полиции, его разговоры с Плеве и пр. (см. полемику между Тютчевым и Засулич в «Былом», №№ 10-11, 13, 16).

ибо из его же рассказов вытекало, что это ученик Михайловского, субъективист в социологии и полу-народник, полу-либерал по политическим построениям. Впоследствии, при личном знакомстве с Юделевским так и оказалось. Ничего серьёзного, разумеется, против марксизма он сказать не мог, а беспомощно повторял все буржуазные и народнические «возражения» против учения Маркса, вдобавок сплошь и рядом придавая и последним совершенно буржуазный характер. В дальнейшие года Юделевский стал эсером, находился в эсеровской «оппозиции», а теперь благополучно пребывает чуть ли не в «кадетах», работает в миллюковских «Последних Новостях» и подобных изданиях и исповедует белогвардейские убеждения, чуть ли не солидаризируясь с Бурцевым (что меня лично ничуть не удивило, ибо такую участь я предсказывал Юделевскому ещё в Сибири, когда я познакомился с ним и когда он выступал в качестве ярого «террориста» и беспощадного критика марксистской «умеренности»).

В Иркутске находилось тогда ещё много других старых ссыльных эпохи народничества и народовольчества, но мне с ними встретиться не пришлось, так как в Иркутске из тюрьмы нас не выпускали. Жёны наши, как следовавшие за нами «добровольно», ходили в город и кое-кого повидали (там находились Свитыч, Студзинский, Лянда, Лурье и другие, которых не припомню). Но чем дальше мы направлялись на север, к Якутску, тем больше мы начали встречать старых ссыльных. Между прочим, вспоминаю, что на реке Лене, по которой мы ехали уже на санях, мы где-то около Киренска встретили Н. Геккера, народовольца, побывавшего тоже на каторге (из народовольцев второго призыва). У него на голове была чёрная повязка, покрывавшая след от раны, которую он нанёс себе из револьвера во время известной трагической истории на Каре, вызванной телесным наказанием политической ссыльной, каторжанки Сигиды, и повлёкшей за собой самоубийство и покушение на самоубийство нескольких каторжан-карийцев. Встреча с Геккером была интересна в том отношении, что он уже довольно определённо выражал вражду к марксизму и, в частности, к его носителям, каковыми были мы многогрешные.

Дальше, в Олёкминске мы встретили другого старого ссыльного Дзбановского, бывшего офицера-народовольца, а также доктора Абрамовича, одного из первых русских социал-демократов (ещё 80-х годов).

Но главную массу ссыльных стариков мы нашли, разумеется, в Якутске. Здесь мы встретили старика Левенталья, Сергея Диковского с его женой Надеждой (б. Люрый), «пролетариатца» Генриха Дулембу, Н. Виташевского, П. Лозянова, Ф. Давиденко (брата повешенного в Одессе в 1879 году Иосифа Давиденко), Г. Осмоловского, старого народника Ионова, Никандра Матвиевича, Ястржембского, В. Гориновича, рабочего Бойченко-Михайлова, землевольца Трощанского, Козырева, Э. Пекарского, Софью Доллер, старого народника Войнаральского, имя которого пользовалось у нас особенным обаянием, как одного из главных деятелей знаменитой эпохи «хождения в народ», Никиту Левченко и ряд более молодых народовольцев, как А. Бычкова, Майнова, Стояновского и Г. Мarmorштейна.

* * *

Всё это были обломки героического периода революционного движения 70-х и 80-х годов. За каждым из них была целая история. Имя каждого из них связано было с каким-нибудь крупным революционным актом или громким революционным процессом. Ионов, Пекарский и Войнаральский принадлежали к эпохе «хождения в народ» или к началу народной пропаганды 70-х годов, причём первые двое судились по отдельным мелким процессам, а последний был героем знаменитейшего процесса 193-х, или так называемого «Большого процесса» 1877-1878 г.г. Но расцвет его деятельности относился к 1873 году.

Войнаральский был одной из крупнейших фигур нашего старого революционного движения. Мировой судья, человек уже не молодой, чуть ли не под 40 лет, занимавший видное общественное положение, он прикнул к юношескому движению «хождения в народ» и играл в нём крупную роль, особенно на Волге. По его же инициативе была организована в Москве Ипполитом Мышкиным одна из первых крупных нелегальных типографий, печатавшая в большом количестве революционные брошюры и даже целые книги. В ссылке Войнаральский, подобно многим другим старикам, несколько опустил, занялся торговлей, женился на якутке и к нашему приезду пользовался среди ссыльных несколько отрицательной репутацией. Но я лично настолько был пропитан обаянием имени Войнаральского, что не мог как-то верить разговорам на его счёт и попытался всё же с ним сойтись. Впоследствии мне не раз при-

ходило по вечерам бродить с ним по берегу реки и вести с ним разговоры о прошлом и о будущем. Оказалось, что под наносным пеплом житейских мелочей в Войнаральском сохранился живой и пылкий дух старого революционера. Он с горячим интересом слушал мои рассказы о начавшемся пробуждении рабочего класса, возлагал на него большие надежды, но в то же время придавал всё-таки главное значение пропаганде среди крестьян. Он собирался вскоре вернуться в Россию и уверял меня, что начнёт там опять революционную агитацию в народе. Нужно сказать, что, вопреки скептицизму других стариков, Войнаральский сдержал своё обещание. Вернувшись в Россию, он действительно снова занялся революционной пропагандой, но вскоре умер.

Войнаральский, между прочим, рассказывал мне много об Ипполите Мышкине. Мышкин был чрезвычайно богато одарённой личностью. В частности, он обладал, несомненно, крупнейшим ораторским талантом. Истории известны две его речи. Одна была произнесена на «Большом процессе» и неоднократно с тех пор опубликовывалась; другая была произнесена им в Иркутской тюрьме над гробом другого политического каторжанина Дмоховского, скончавшегося в заключении во время следования на Кару, куда направлялся и Мышкин, после отбытия наказания в Белгородском центральном исправительном учреждении. Эта вторая речь, по-видимому, состояла всего из нескольких слов и известна нам лишь в пересказах. Но первая, произнесённая в сенате во время «Большого процесса», представляет несомненно выдающееся явление.

Так вот, однажды Войнаральский рассказывал мне о Мышкине следующее. По его словам, Мышкин был, так сказать, раздвоенной натурой. С одной стороны он был горячим, преданным революционером, энтузиастом, верившим в близкое пришествие народного освобождения. С другой — временами им овладевала глубокая хандра. Он впадал в уныние и чуть ли не терял всякую веру в возможность успеха революции. Во время одного из таких припадков Войнаральский его случайно и застал. Мышкин сидел за столом, положив голову на руки, и горько плакал. Войнаральский с трудом его успокоил...

С. Диковский тоже был видной, колоритной фигурой, хотя калибра далеко не столь крупного, как Войнаральский. С продолговатым и измождённым лицом отшельника, с высоким лбом и длинной бородой, он внешне производил сильное впечатление. Владелец замечательного

голоса, он пел всегда партию первого тенора в организованном ссыльными хоре. Начало этому хору положено было ещё на Каре. Обломки его добрались до Якутска. И я должен сказать, что нигде не слышал революционных песен и, особенно, русских и украинских народных песен в таком исполнении, как в этом якутском хоре, где главными тенорами были С. Диковский и Н. Левченко, а басами П. Лозянов, Н. Матвиевич и Козырев. Я никогда не забуду, как пел песню «Ах, не одна во поле дороженька пролежала» квартет из Диковского, Левченко, Лозянова и Матвиевича при торжественной встрече шлиссельбуржцев, прибывших в Якутск в 1896 г. Нет, никакие вышколенные, обученные, прошедшие 20 музыкальных школ артисты не могли вложить столько чувства и мощи в своё пение, как эти люди, на себе испытавшие все преследования озлобленного царизма, побывавшие во всех тюрьмах, отбывшие ужасную каторгу на Каре и пережившие там десятки трагедий.

С. Диковский судился по первому процессу народовольцев в 1880 г. в Киеве, вместе со своим двоюродным братом Моисеем Диковским. Не помню, сам ли С. Диковский или кто-нибудь из его друзей рассказал мне, что именно Диковский и был тем лицом, которое передало на хранение народовольческие прокламации юноше Розовскому. Розовский был арестован с этими прокламациями и отказался назвать лицо, давшее их ему. За это он был подвергнут в Киеве генерал-губернатором Чертковым смертной казни, что в своё время наделало много шума. Между прочим, эта печальная история описана Л. Толстым в романе «Воскресение» (разумеется, не в цензурном, вышедшем в России, а в заграничном полном издании). Если мне не изменяет память, Розовский выведен там под своей настоящей фамилией.

Павел Лозянов, обладатель могучего баса, до которого Шаляпину далеко, судился по тому же «процессу 20-ти» в Киеве. Он происходил из духовного звания и, может быть, поэтому его рождение не было своевременно зарегистрировано в метрических книгах. Факт тот, что, хотя по официальным данным ему в момент процесса считалось 19 лет, тем не менее он имел уже тогда большую широкую бороду лопатой. И это обстоятельство вызвало ехидное замечание в отчёте о процессе, печатавшемся в черносотенном «Киевлянине». Там о Лозянове между прочим было сказано: «Несовершеннолетний подсудимый Лозянов, с

огромной бородой, оглушительным басом произносит революционные речи» (или что-то в этом роде).

Большим приятелем Лозянова был Н. Матвиевич. Он судился в Одессе в 1883 году и был приговорён к каторге по процессу народовольцев, созданному пресловутым прокурором Стрельниковым (к моменту процесса уже убитым террористами Желваковым и Халтуриным. Лозянов был в якутском хоре вторым басом, Матвиевич — первым. Так, как он пел «Не плачь, дитя» или добролюбовское «Пускай умру, печали мало», не споёт ни один патентованный певец. Силе впечатления ещё способствовала оригинальная внешность Матвиевича: это был жгучий брюнет (по происхождению он был молдаванином) с впалыми сверкающими чёрными глазами, с трагическим выражением лица, на котором отражалась прежняя душевная болезнь, постигшая Матвиевича во время следования на каторгу. На второй или третий день по прибытии в Якутск, мы навестили Матвиевича у него на квартире. Он ещё не вставал. Мы застали его сидящим в белье на матраце, брошенном прямо на пол посередине комнаты. Выслушав наше исповедание веры, которое мы, как юные марксисты, поспешили преподнести ему, Матвиевич, задумчиво почёсывая свои чёрные патлы, сказал: «Да, вы, конечно, правы. Пожалуй, вам удастся то, что не удалось нам. Но мы хотели сразу, одним ударом добиться всего: и политического, и социального переворота. Сорвалось! Что делать». Матвиевич, как и большинство народников, думал, что мы, марксисты, отодвигаем социальную революцию на далёкий план. Не знаю, жив ли он теперь. Если жив, то мог убедиться, что мы преуспели в обоих отношениях...

К группе южно-русских террористов, работавшей на юге в конце 70-х годов, принадлежал и Никита Левченко, судившийся, впрочем, не в Киеве, а в Одессе, кажется, в 1879 году, вместе с Лизогубом, Чубаровым и Иосифом Давиденко. По социальному происхождению он был рабочий, не то слесарь, не то наборщик, но на вид это был типичный интеллигент. Его чарующая улыбка была чудесна. Его голос, уступая голосу Диковского в силе, отличался неизъяснимой прелестью и нежностью.

Василий Елисеевич Горинович также производил обаятельное впечатление своей врождённой деликатностью и мягкостью. И за ним числилась трагическая история. Его старший брат, принимавший участие в «хождении в народ», был заподозрен товарищами в предательстве.

Южно-русские бунтари, в том числе Л. Дейч и В. Костюрин, решили с ним расправиться. Они и выполнили свой замысел, заманив Гориновича на глухую Конную площадь в Одессе. Здесь они нанесли ему несколько ударов кистенём и, думая, что он убит, облили его серной кислотой, чтобы затруднить поиски полиции. Но несчастный сказался жив и затем фигурировал в качестве свидетеля на суде, для того, чтобы его ужасная маска свидетельствовала о «зверствах революционеров». Через несколько лет после этой истории, в Киеве во время облавы был захвачен брат пострадавшего Василий Горинович. Это было, кажется, в 1883 году. Шпион, доставивший его в полицейский участок, шепнул что-то дежурному приставу и околоточному и умчался сейчас же для ловли новых жертв. То ли пристав не понял, какую птицу ему привели, то ли по другой причине, но в один прекрасный момент Горинович очутился в комнате один. Он мог свободно уйти и уже направился к двери, которая вела на улицу. Но вдруг в голову ему пришла ужасная мысль. Ведь о брате его в революционных кругах циркулировали слухи, как о предателе. Что, если, в случае ухода из-под ареста, товарищи не поверят, что ему удалось выбраться из логова зверя, вследствие неслыханно благоприятного стечения обстоятельств?!. Ведь подозрения могут тогда скопиться и вокруг его головы! И одна мысль о том, что некоторые товарищи могут скептически отнестись к его рассказу о побеге из полицейского участка, остановила Гориновича. Он вернулся в комнату дежурного пристава, дал себя увести в тюрьму и впоследствии получил по суду 8 лет каторжных работ.

Филипп Давиденко был арестован совсем молодым человеком, чуть ли не 17-18 лет. Он принимал участие в убийстве шпиона Курилина в Киеве; принадлежал к южно-русским бунтарям, в частности к той группе, из которой впоследствии вышел первый «Исполнительный Комитет» Валериана Осинского. Хотя он был несовершеннолетним юношей, это не помешало суду закатать его на долгосрочную каторгу. Здесь, несомненно, повлияло ещё то обстоятельство, что он был братом Иосифа Давиденко, известного в те времена на юге России революционера. Иосиф Давиденко был прикосновенен к покушению на Александра II, которое затевалось южно-русской группой бунтарей в конце 70-х годов. Между прочим, на его квартире предатель видел сундучок с нитроглицерином, который должен был послужить в Николаеве для

взрыва царской пристани. За эту вину, абсолютно не доказанную на суде, Давиденко был подвергнут смертной казни через повешение. Между прочим, мой отец присутствовал на этой казни и много лет спустя передавая мне о ней потрясающие подробности. Он был повешен вместе с Чубаровым и знаменитым Лизогубом, этим апостолом, отдавшим революции своё состояние и свою жизнь¹.

Типичной фигурой был старик Козырев. Этот бывший дьякон сохранил в своём облике и пронёс через карийскую каторгу много типичных черт своей социальной группы. Старый народник, он в последнее время начал склоняться к марксизму. И, в отличие от других старых ссыльных, он относился к нам, молодым социал-демократам, не только без вражды (речь идёт, конечно, не о личной, а об идейной вражде), но даже с величайшей симпатией. Его добродушие было неисчерпаемо, и никакими шутками, самыми злостными, нельзя было вывести его из этого добродушного настроения. Он был несколько чудаковат. Товарищи рассказывали о нём много забавных анекдотов. Между прочим, отличавшийся злым языком Давиденко сообщил в присутствии самого Козырева следующую историю.

Однажды Козырев, лёжа в каторжной тюрьме на нарах рядом с другими товарищами, начал развивать им оригинальную экономическую систему. Здесь была и прибавочная стоимость, и норма заработной платы, и норма эксплуатации рабочих и т.д. Товарищи, внимательно выслушав Козырева, ехидно заметили ему, что с своей «оригинальной» системой он несколько запоздал, так как всё это слово в слово, но более убедительно, изложено в известной книге Карла Маркса под названием «Капитал», т. I, откуда, по их предположениям и злостным намёкам, глубокомысленный дьякон и заимствовал свою оригинальную систему. Но Козырев ничуть не смутился. «Маркс Марксом, — сказал он, — я и не отрицаю, что Маркс об этом тоже писал, но я дошёл до всего своим умом». Не знаю, насколько всё это верно, но Козырев, добродушно выслушав шутки Давиденко, обыкновенно заключал: «Ну и дурак! Ничего более умного придумать не можешь?» Но по существу он не решался оспаривать рассказ Давиденко.

¹ Между прочим, в те времена была довольно популярна песня, представляющая нечто в роде предсмертного завещания Лизогуба. Не знаю, была ли она где-нибудь напечатана. Старые карийцы должны её знать. Я, к сожалению, забыл её слова (она невелика).

Василий Степанович Ефремов, патриарх с длинной седой бородой, тоже принадлежал к категории ссыльно-поселенцев из бывших карийцев. Судился он в 1879 году в Харькове по делу о попытке освобождения из тюрьмы Фомина (Медведева), который был арестован за участие в нападении на конвой, вёзший в «централ» Войнаральского. Фомину грозила смертная казнь, и товарищи решили вызволить его. Для этого было заготовлено подложное требование от имени харьковского жандармского управления к начальнику тюрьмы о передаче Фомина двум жандармам, которые якобы должны были отвезти его на допрос. Под видом жандармов фигурировали переодетые революционеры (кажется, Рашко и Тищенко-Березнюк). Попытка не удалась, и явившиеся в тюрьму мнимые жандармы были задержаны. Начались аресты в городе, и в число арестованных попал и студент Ефремов. Собственно говоря, к самому делу он имел лишь косвенное отношение: «жандармы» переоделись на его квартире. Но среди захваченной молодёжи он имел несчастье быть самым «пожилым»: ему было тогда 27 лет (другие были и того моложе). Этого было достаточно, чтобы военный суд признал его руководителем и приговорил к смертной казни. Тут Ефремовым овладела минута слабости: он подал прошение о помиловании на «высочайшее» имя. Смертная казнь была заменена ему каторжными работами. Этой минутной слабости Ефремов, видимо, не мог себе простить. Она оказала подавляющее влияние на его душевное состояние. Он был всегда унылым, скучным и всё ёжился, хотя никогда товарищи не напоминали ему про печальный инцидент, а отношение к нему было самое хорошее. Но Ефремов был человеком с чуткой совестью и сам казнил себя строже, чем это могли бы сделать самые суровые судьи. Факт подачи им прошения был несомненно случайным инцидентом в его жизни, и Ефремов до конца остался убеждённым и преданным революционером.

Из стариков вспоминаю ещё Трощанского. Он принадлежал к кружку так называемых «троглодитов», т.е. основателей общества «Земля и Воля», из которого впоследствии вышли партии «Народной Воли» и «Чёрного Передела». Судился он, если мне не изменяет память, по процессу Адриана Михайлова, доктора Веймара и др., т.е. по делу об убийстве шефа жандармов Мезенцева, и был приговорён к каторге, которую отбыл на Каре. У него была чрезвычайно интересная наружность. С гу-

стыми бровями, чёрными сверкающими глазами, длинной узкой седеющей бородой, он напоминал Черномора или средневекового алхимика. Чрезвычайно суровый на вид, он обладал в сущности весьма мягкой натурой. Был он человеком вдумчивым и, сидя у себя в улусе, много предавался размышлениям о судьбах революций.

По этому поводу он написал даже целую работу и в один из своих приездов в город привёз мне толстую рукопись, желая узнать мнение «молодого поколения» насчёт выводов, к которым он пришёл в результате своих размышлений. К сожалению, я тогда отнёсся несколько легкомысленно к этому произведению. Здесь сыграла немалую роль манера наших ссыльных относиться друг к другу иронически. Кто-то из стариков, увидев у меня манускрипт Троцанского, заметил насмешливо: «Ага, он и вам притащил своё произведение? Ну-ну, почитайте, если хватит терпения, ха-ха!» Каюсь и жалею до сих пор, — это подействовало на меня, тем более, что я, в качестве юного марксиста, с высоты своих 23 лет взиравшего тогда на «отсталых» народников, и не ждал ничего путного из народнического Назарета. К рукописи Троцанского я отнёсся легкомысленно, тем более, что она подавляла своей толщиной и размерами, пробежал её слегка и теперь точно не помню её содержания. Знаю только, что она содержала анализ условий, обеспечивающих удачу или поражение революций. Одна мысль автора врезалась мне в память, а именно: он доказывал (кажется, главным образом, на основании фактов из истории Франции), что революции удаются при сочетании двух условий — революционного настроения в массах и существования, хотя бы в зародыше, представительных учреждений, становящихся опорными пунктами революции. Троцанский имел в виду французские «парламенты». А я вспомнил его мысль во время февральской революции, использовавшей на первых шагах нашу несчастную Государственную Думу¹.

У Троцанского был сын, учившийся в Якутском реальном училище. Старик жил отдельно от семьи в улусе, сын же с матерью проживали в городе. Отношения между ними были довольно холодные. Старик относился к жене и сыну пренебрежительно, как к «обывателям». При

¹ Быть может, у старых якутян имеется эта рукопись Троцанского? Было бы жаль, если она пропала бесследно.

встрече с сыном, поведение которого ему почему-то не нравилось, старик обыкновенно говаривал: «Будешь околоточным надзирателем!» И ошибся. Впоследствии сын Трощанского принял участие в революционном движении и сделался одним из руководителей группы «с.-р. максималистов». Он был прикосновенен к делу Фонарного переулка (нападение на конвой, сопровождавший фургон с казёнными деньгами в Петербурге при Столыпине) и осуждён на 15 лет каторжных работ. Когда я в 1910 г. снова попал в питерскую пересыльную тюрьму, то узнал, что там же сидит, уже на положении каторжанина, сын Трощанского (фамилия его Пумпянский, кажется, по матери). Мне очень хотелось повидать того, кого я знавал когда-то зелёным юнцом, но это не удалось. В рассматриваемое время, в разгар реакции, в тюрьме царили большие строгости. Но я слышал, что приговор ничуть не подействовал на Пумпянского, и что он в тюрьме слыл за буйного и «неисправимого» (на взгляд начальства) человека...

Особенно интересной, хотя на внешний вид и невзрачной, фигурой был Генрих Дулемба. Его мы знали по знаменитой «группе пяти пролетариатцев», которая в конце 80-х и начале 90-х годов была популярна и в России. Выше я говорил о том снимке, который я, между прочим, приобрёл у красноярского фотографа-коллекционера. Тогда я не думал, что мне придётся встретить живых людей, изображённых на этой группе. А между тем в дальнейшие годы своей жизни я встретил троих из них. Дулембу я встретил в Якутске, Маньковского за границей, Феликса Кона, ныне здравствующего нашего товарища, в России.

Это странно, но это так: звуки, из которых составлена фамилия Дулемба, возбуждали в нас представление о чём-то могучем, колоссальном, мощном, грандиозном. Мы знали, что он рабочий, и это тоже окружало его добавочным ореолом в наших глазах. Но действительность нас разочаровала. Один из первых старых ссыльных, которого мы встретили в Якутске, и был Дулемба. Он, по обыкновению, прибегал встречать все новые «партии». Но вместо грозного террориста, с челом, обвиненным молниями, как выражался покойный Степняк, и с глазами, мечущими искры, мы увидели маленького, тощего, добродушного старичка, говорившего на каком-то тарабарском жаргоне, представлявшем смесь русского с польским (знаменитый «язык пана Дулембы», над которым

потешались его товарищи). Этот юркий старичок сразу завоевал паши симпатии, хотя это было совсем не то, чего мы ожидали.

Но за этой невзрачной внешностью скрывался высокий дух и твёрдые убеждения. В Дулембе поражало какое-то всепрощение, мягкое отношение к личным недостаткам и промахам, какое редко встречается в нашей нервной среде. «Важны не люди, а идеи, — говаривал он. — Люди слабы, даже дурны подчас, идея — велика». Для всякой ошибки он старался отыскать наиболее благоприятное объяснение, для всякого грешника найти смягчающие или, по крайней мере, объясняющие вину обстоятельства. И, вероятно, благодаря этому товарищи, хотя иногда и позволяли себе чуть ли не сверху вниз относиться к некоторым его внешним странностям, глубоко любили и уважали старичка Дулембу. Для всякого у него находилось слово утешения, успокоения, для всех товарищей его тощий кошелёк готов был раскрыться, чтобы по мере сил прийти на помощь.

Дулемба рассказывал нам много о «Пролетариате», о Л. Варынском, к которому он относился с настоящим обожанием, и о других своих соотарищах по «Пролетариату». Будучи, как большинство «пролетариатцев», сам марксистом, Дулемба с осуждением относился к нашей юношеской угловатости и резкости, с какой мы, по-юношески нетерпимо обрушивались на «отживших», по нашему мнению, стариков. Ссылочная атмосфера всегда развивает склочность и сварливость. Ссылочные истории и конфликты вошли в поговорку. И если бы не было в ссылке таких людей, как Дулемба; смягчающих острые углы и старающихся всех примирить, то ссылка превратилась бы в настоящий ад, а не была бы тем содружеством, той товарищеской «Запорожской Сечью», какой она, в конце концов, оказалась, за вычетом мелких и, по существу, преходящих пустяковых столкновений. Дулемба впоследствии вернулся в Россию и несколько лет тому назад умер где-то в Галиции. Между прочим, как мне рассказывали товарищи, он был захвачен на какой-то сибирской станции карательным отрядом Ренненкампа в 1906 году и чуть не расстрелян. Но ему удалось как-то вывернуться...

Из встреченных нами в Якутске ссылных хочется сказать ещё несколько слов о Григории Мarmorштейне. Это была крупная духовная сила, загубленная нелепыми условиями царизма. Студент Новороссий-

ского университета, симпатизировавший «Народной Воле», он был арестован в конце 80-х годов и ни за что ни про что, собственно за разговоры с товарищами, сослан на 10 лет в Якутскую область. Не довольствуясь этим, правительство, по окончании 10-летнего срока, набавило ему ещё, кажется, 2 года. Он политически самоопределился и пострадал в самый тяжёлый момент нашей истории, во вторую половину 80-х годов, т.е. в период разгрома «Народной Воли» и полного общественного упадка в России. Продолжительная ссылка подорвала его силы. Это был на редкость честный и кристальной чистоты человек, но чувствовалось, что он утратил веру в близкое возрождение русской общественности. Вслух он этого не говорил, но это видно было по всему, по его глубокой грусти, тоске и унылому настроению. Прекрасный товарищ, столь же примирительно настроенный, как Дулемба, он тоже играл в ссылке роль связующего звена, хотя по (сравнительной) молодости не пользовался таким авторитетом, как старый «пролетариатец». К нам, молодым, он относился с величайшим сочувствием, хотя тоже осуждал нашу резкость и беспардонность. Умер он вскоре по возвращении в Россию (в начале 900-х годов).

* * *

Разумеется, в ссылке, наряду с «аристократией», имелась и своя «демократия»¹. Я имею в виду ссыльных, имена которых не врезались так в историю, которые прошли свой крестный путь сравнительно незаметно, которые меньше остановили на себе внимание и о которых поэтому известно немного. Из этой категории ссыльных я хочу упомянуть о Потапове и о так-называемых солдатах-«нечаевцах».

Потапов, как известно, был тем рабочим, который развернул красное знамя с надписью «Земля и Воля» во время знаменитой демонстрации на Казанской площади в декабре 1876 года. Эта первая революционная демонстрация на улицах царской столицы в своё время наделала много шума. Организована она была землевольцами и примыкавшими к ним рабочими кружками. Во время этой демонстрации молодой тогда Георгий Плеханов произнёс революционную речь, а ещё более молодой рабочий Потапов (ему тогда было что-то около 16 лет) держал при этом

¹ В данном случае речь идёт, понятно, об аристократии известности и роли в революционной борьбе. Другой «аристократии» в ссылке не было.

красное знамя. Демонстрация кончилась весьма плачевно для её участников. Они были избиты полицией и дворниками. Значительная часть была арестована и впоследствии по приговору суда пошла на каторгу. Потапов, с одной стороны, по малолетству, а с другой — вследствие демагогии правительства, желавшего замазать участие рабочих в демонстрации, под суд не попал. Но от этого его участь не стала легче. С ним расправились административным порядком. Сначала его отправили в Соловецкий монастырь на покаяние(!), а затем сослали в Восточную Сибирь, в Якутскую область. Здесь я с ним и встретился. В то время, когда я его видел, он производил крайне жалкое впечатление человека, совершенно замученного и забитого, можно сказать, слабоумного. Робкий и застенчивый, он не мог произнести двух слов. Общество, видимо, его тяготило. У него было очень одухотворённое лицо интеллигентного петерского пролетария, с шелковистой белокурой бородой и печальными усталыми глазами. И хотя он был тогда во цвете лет (ему было что-то около 35 лет), тем не менее видно было, что это человек совершенно конченный, ни к чему негодный, даже неспособный к работе и к пропитанию себя собственным трудом. Дальнейшей участи его я не знаю, но думаю, что он совершенно опустил и погиб.

Иное впечатление производили солдаты-«нечаевцы». Как известно, Нечаев, сидя в Петропавловской крепости, сумел, несмотря на своё положение подневольного арестанта, забрать в свои руки охранявший его караул. Он настолько подчинил себе волю охранявших его солдат, что они готовы были по одному его знаку выполнять всё, что он прикажет. Через этих спропагандированных им солдат он завязал сношения с находившимися тогда в Петербурге народовольцами, в том числе с Желябовым. С помощью преданных ему караульных Нечаев мог бежать из крепости. Но в тот момент (дело происходило в конце 1880-го или в начале 1881-го года) вопрос стоял так, что партия не могла сразу осуществить двух предприятий: организацию побега Нечаева и совершение террористического акта против Александра II. Исполнительный Комитет предложил Нечаеву на выбор самому решить, что важнее для дела революции. И Нечаев, разумеется, высказался за совершение покушения на царя. Вскоре после того, дело было раскрыто, и Нечаев так и погиб в тюрьме. Солдаты были арестованы, судились и были приговорены к ссылке на поселение. Некоторых из них я и встретил впоследствии.

Вспоминаю из них Кира Бызова и Ивана Тонышева. Несмотря на заключения ссыльной жизни, несмотря на то, что некоторые из них, не обладая достаточной политической устойчивостью, впоследствии несколько опустили, всё же они сохранили революционное настроение и, в особенности, горячую преданность к Нечаеву¹. Какого бы мнения ни быть о приёмах, которые пускал в ход во время своей революционной деятельности Нечаев, как бы ни относиться даже к его личности, но его жизнь в крепости и, в частности, то обстоятельство, что он, будучи бесправным, лишённым всех прав узником, сумел приобрести такое поразительное влияние на солдат, показывает, что он был незаурядным человеком и чрезвычайно крупной революционной силой.

Я не могу удержаться от того, чтобы не сказать несколько слов о шлиссельбуржцах, попавших к нам, в Якутскую область. По амнистии, связанной с коронацией Николая II, нескольким шлиссельбуржцам был сокращён срок каторги, после чего они были отправлены в ссылку в Якутскую область. Трудно передать то волнение, которое овладело якутскими ссыльными, когда получилось известие о том, что к нам едут шлиссельбуржцы. Если старый «кариец» был окружён в глазах молодёжи ореолом, то шлиссельбуржцы были окружены таким ореолом и в глазах старых ссыльных. Эти люди как бы воскресли из мёртвых. После долгих лет заключения в мрачных казематах Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей, свидетели и участники старых славных боёв снова как бы выходили из могилы. Мы подстерегали каждую почту, каждый приезжавший в Якутск возок. Наконец, какому-то счастливцу удалось первому увидеть прибывших в якутском полицейском участке. Через несколько минут они явились на квартиру Дулембы, которая служила для нас обычным сборным пунктом (наряду с знаменитой «улушной»). Здесь я и увидел их. Это были: Шебалин, здравствующий доньше и находящийся сейчас в Москве; Янович, сотоварищ Варынского и Дулембы по «Пролетариату», Мартынов, рабочий, один из эпигонов

¹ Молодой народоволец Сушинский, находившийся в то время в Киренске, тоже встречал одного из «нечаевских солдат» (забыл сейчас его фамилию). Сушинский рассказал мне об этом своём товарище по ссылке забавный, но характерный анекдот. Однажды во время грозы этот «нечаевец» выскочил на улицу и, грозя в небо кулаком, стараясь перекричать гром, вопил, обращаясь к воображаемому богу: «Замолчи! (далее следовало непечатное прибавление). Я тебя не боюсь» и т.д. Несчастный воображал, что он таким путём наглядно доказывает своё свободомыслие и неверие.

«Народной Воли», осуждённый за вооружённое сопротивление при аресте в Киеве в 1884 г. и Суровцев, сотоварищ Веры Фигнер, тоже один из последних деятелей «Народной Воли», осуждённый за одесскую тайную типографию, руководимую С. Дегаевым (впоследствии известный предатель). Через год после этого прибыл ещё В. Панкратов, приезд которого, естественно, уже не мог возбудить такого энтузиазма, как прибытие первых шлиссельбуржцев (кстати, этот Панкратов впоследствии кончил очень плохо: он, вместе с Бурцевым, во время войны участвовал в основании пресловутого «Общества 1914 года», яро шовинистического и реакционного характера).

Первая встреча с шлиссельбуржцами особенно врезалась мне в память. Когда мы собрались на квартире у Дулембы, шлиссельбуржцев в это время там не было. Они ушли в баню. Вернулись они красные, распаренные, счастливые, вдыхая всеми порами свободу (свободу в Якутске!), в которой впервые очутились после многих лет подневольного и поднадзорного существования. Ведь только в Якутске их освободили из-под конвоя. Особенно сильное внешнее впечатление производил Мартынов, гигантского телосложения, с окладистой, слегка седеющей бородой, с широким энергичным, твёрдым лицом и пронзительными серыми глазами. Суровцев походил на апостола — добродушный, ласковый, всепрощающий, наполовину не от мира сего. Шебалин со своей длинной чёрной бородой казался настоящим гномом, вылезшим из-под земли. Наиболее серая и незаметная наружность была у Яновича, имевшего вид худосочного заморённого интеллигента, с очень усталым лицом и чёрной бородкой. Но среди всех прибывших шлиссельбуржцев он был самым выдающимся...

Трудно, разумеется, вспомнить, о чём говорили при первой встрече. Не только мы, молодёжь, но и старые карийцы смотрели на этих людей, каким-то чудом вырвавшихся из царских застенков, с глубоким благоговением, можно сказать, с обожанием. Узники с своей стороны, видимо, были очень тронуты оказанной им встречей и проявленным к ним отношением. В результате, быстро создалась товарищеская, семейная, интимная атмосфера.

Шлиссельбуржцы рассказывали нам очень много о своей жизни в крепости и о делах, за которые они были осуждены. Большинство из того, что они тогда нам рассказывали и что в те времена было новостью,

теперь уже известно всем и опубликовано в воспоминаниях шлиссельбуржцев. Но некоторые частности из их рассказов заслуживают всё же упоминания.

Так, например, разговорились мы однажды с Мартыновым о его деле. Мартынов был тоже одним из осколков некогда славной и сильной «Народной Воли». Он, вместе с Панкратовым, Шебалиным, Карауловым¹ и другими был арестован в 1884 году и судился за попытку восстановления партии «Народной Воли». При аресте в Киеве на улице Мартынов оказал вооружённое сопротивление. Полицейские агенты жестоко избили его за это, причём один из них, чтобы парализовать его дальнейшее сопротивление, схватил его, уже лежавшего на земле, за волосы. Когда кто-то из нас невольно испустил восклицание негодования по поводу зверства, проявленного шпионами, то Мартынов добродушно заметил: «Ну, ещё чего вы захотели! Разумеется, раз я в них стрелял, то они тоже имели право драться. Тут уж нежничать не приходится».

Шлиссельбуржцев чествовали бесконечно. Кроме общих собраний на квартире Дулембы, каждый из якутских старожилов старался залучить их к себе и устроить в их честь «вечер». Однажды мы собрались на квартире у Осмоловского, жена которого была очень хорошей хозяйкой и у которого поэтому товарищи любили собираться. Янович рассказывал про обстоятельства своего ареста. Он принадлежал к партии «Пролетариат» и попался в руки полиции во время повальных арестов в Варшаве в 1884 году. Захвачен он был в каком-то варшавском кафе на улице Новый Свет. Нас всех удивило, как такой благодушный, мягкий человек, как Янович, на вид типичный кабинетный мыслитель, мог оказать вооружённое сопротивление. Оказывается, по словам Яновича, что всё это произошло случайно. Кто-то из товарищей отдал в починку старый, негодный револьвер. В день ареста Янович случайно получил этот револьвер, ему не принадлежавший, для передачи его владельцу. Придя на свидание в кафе, кажется, с Дембским (я сейчас не помню), Янович имел этот револьвер в кармане, причём не был даже уверен, заряжен он или нет. Что ему когда-нибудь в жизни придётся воспользоваться огнестрельным оружием, Янович ни на минуту не предполагал. Когда они

¹ Караулов был приговорён всего к 4 годам каторги, которую отбыл в Шлиссельбурге. Таким образом, он оказался первым из шлиссельбуржцев, вышедшим на свет божий (правда, тоже в ссылке). Впоследствии стал членом кадетской партии (sic!) и был членом Гос. Думы.

сидели с товарищами за столиком в кафе и разговаривали, к ним неожиданно подошёл полицейский надзиратель, заявивший собеседникам, что они арестованы. Яновичу стало обидно. Как так! Сидят люди, мирно беседуют — и вдруг подходит какой-то субъект, намеревающийся лишить их свободы! Неужели так и отдаться в руки палачей без всякого протеста?!.. Случайно в кармане у Яновича оказался револьвер, — и он больше для того, чтобы выразить протест против насилия, инстинктивно выхватил его и дал по агентам несколько выстрелов, при чём одним из них ранил самого себя в большой палец левой руки вследствие полной неопытности и неумения обращаться с огнестрельным оружием, полицейским же не причинил никакого вреда. Несколько выстрелов, произведённых Яновичем из плохого револьвера, вызвали такую панику, что полицейские моментально разбежались, попрятавшись кто куда. Сотоварищи Яновича успели скрыться. Сам же виновник шума, вероятно, поражённый всем происшедшим не менее, чем полицейские, остался на месте и через некоторое время был преспокойно арестован оправившимися и вернувшимися в комнату шпиками.

Кажется, история довольно обычная и ничего особенного не представляющая. Но оказывается, что на этот раз было не так. Когда Янович окончил свой рассказ, один из присутствовавших ссыльных, тоже варшавянин (кажется, Дулемба, точно не помню), с изумлением спросил Яновича:

— Отчего же вы сами не ушли?

— Да как же я мог уйти? — ответил Янович с не меньшим удивлением.

— Да очень просто! Разве вы не знали, что в этой самой зале, где вас забрали, была боковая дверь в сад, откуда через калитку можно было уйти на улицу? Ведь так и ушли бывшие с вами товарищи.

— Я не знал, — тихо ответил Янович.

Наступило тяжёлое молчание. У всех промелькнула мысль: от чего зависит жизнь человеческая?! А жизнь Яновича была загублена. Он просидел свыше 10 лет в Шлиссельбурге. Невеста его, не зная, где он находится, и не надеясь увидеть его когда-либо на свободе, вышла за другого. Узнал он об этом после выхода из Шлиссельбурга. Известие это

нанесло ему страшный моральный удар, от которого он не мог уже оправиться. В ссылке он всё время тосковал и хандрил, а через несколько лет покончил самоубийством на якутском кладбище.

* * *

Обычным местом сборов служила для якутских ссыльных так называемая «улусная». Героические времена «улусной» относятся к предшествующему периоду. В моё время она уже доживала свои славные дни. «Улусная» — это была обыкновенная квартира в 3-4 комнаты, содержавшаяся некоей Матрёной Васильевной (фамилии её я, кажется, никогда не знал, да вряд ли кто-нибудь и знал её). Это была самая обыкновенная русская баба, типа малявинских баб, ширококостная, грубоватая, стихийная, любившая выпить рюмочку и не считавшая чистоплотность особой добродетелью. Она содержала этот въезжий дом, где обыкновенно останавливались прибывавшие в Якутск ссыльные впрямь до того, как им удавалось отыскать собственную квартиру. Заезжали в «улусную» также ссыльные, приезжавшие из расположенных вне Якутска посёлков, якутских улусов, отчего «улусная», по-видимому, и получила своё название. Но были чудачки, которые водворялись в «улу-сной» на постоянное жительство, не боясь той сутолоки и шума, которые царили там, особенно во время обедов. Пользовались обедами в «улу-сной» также многие из ссыльных, проживавших в городе, и даже семейные. Таким чудачком был, например, покойный поэт-украинофил И. Грабовский. Но вообще в «улу-сной» постоянно не жили, — туда только заезжали. В дни прибытия и отбытия новых политических партий «улу-сная» представляла собою ад крошечный. Сюда часто собирались ссыльные, здесь устраивались вечеринки, споры, пение и т.д.

В моё время, с официальной «улу-сной» соперничала квартира Ду-лембы, превратившаяся постепенно в своего рода параллельную «улу-сную» — только не коммерческого, а товарищеского характера.

Позже, главные вечеринки устраивались не в «улу-сной», а на частных квартирах ссыльных. Некоторые из ссыльных, пожив в Якутске много лет, более или менее устраивались по-обывательски, обзаводясь хозяйством. Вошло в обычай, по приезде новых партий устраивать вечеринки в их честь. На эти вечеринки собирались ссыльные, которые в обыкновенное время часто друг друга не встречали, будучи заняты своими де-

лами. На них приезжали даже из довольно отдалённых улусов ссыльные, разбросанные волею самодержавия по этим гиблым местам. Здесь знакомились между собою старики и новички, пели, плясали, немного выпивали, но, главным образом, беседовали и спорили до хрипоты — по старинному российскому обычаю. В моё время на этих вечеринках происходили ожесточённые схватки между стариками-народниками и народовольцами, с одной стороны, и молодыми, главным образом, социал-демократами, с другой стороны. Впрочем, этой темы я здесь подробно не касаюсь, так как собираюсь говорить о ней в другом месте...

Кроме вечеринок, устраивались иногда экскурсии в якутскую «провинцию», в улусы. Наезжавшие в Якутск ссыльные, проживавшие в улусах, приглашали к себе в гости новичков, а иногда и стариков. Понятно, что при серости ссыльной жизни такие экскурсии представляли для участников их немалую заманчивость. Лично я припоминаю две такие экскурсии.

Одна из них была «на Марху», точнее сказать, в селение Мархинское. Это село было населено скопцами, сосланными в Восточную Сибирь за принадлежность к скопческой секте. Среди общей якутской дикости и некультурности село Мархинское выделялось своим благоустройством и зажиточностью. Скопцы — прекрасные хозяева. Здесь, на мёрзлой якутской почве, они создали хорошо поставленные земледельческие хозяйства. В домах у них было всегда чисто, замечался мещанский уют, сравнительно высокая культурность; многие из них выписывали газеты, в особенности «Русские Ведомости», некоторые получали журналы и т.д. Но влияния на окружающую среду скопцы не имели, главным образом, вероятно, потому, что к этому и не стремились. Они жили совершенно обособленным коллективом, не интересуясь окружающими и не возбуждая особого интереса с их стороны. В этом селении проживали некоторые политические ссыльные. В наше время жил там народоволец А. Бычков, к которому мы и отправились в гости. Поездка была очень весёлая, на санях, с песнями (Мархинское расположено от Якутска всего в 8 верстах, если мне не изменяет память). Пара дней, проведённых на Мархе, оставила приятное воспоминание из ссыльной жизни. Впоследствии там жил бундовец Гожанский, к которому мы также ездили в гости.

Ещё более интересна была поездка в село Павловск, населённое староверами. Здесь жил политический ссыльный из донских казаков Зубрилов, после отбытия каторга на Каре. Чтобы попасть в Павловск, нужно было переехать реку Лену, которая в этом месте имеет в ширину чуть ли не 15 вёрст, а затем от перевоза нужно было пройти или проехать ещё вёрст 8 полями. Попадая в село Павловск, вы сразу переносились как бы в старую Московию 17-го века. Старообрядцы сохранили старинную русскую культуру, обычаи, песни и т.д. Народ это был всё кряжистый, как на подбор, здоровый, радушный и весёлый. Они поставили своё земледельческое хозяйство, пожалуй, не хуже, чем у скопцов, и, в общем, жили довольно зажиточно. Особенно интересны были их женщины, за которыми наша молодёжь приударяла, к великому негодованию местных парней. Мы водили хороводы, распевали старинные песни и, вообще, провели несколько дней в каком-то, как нам тогда казалось, сказочном царстве. В Павловске сохранился старинный обычай хождения в гости. Каждый дом старался заманить приезжих к себе. Здесь начинались подношения, угощения, потчевания, отказаться от которых никак нельзя было, чтобы не обидеть хозяев. И так мы ходили из дома в дом, всюду радушно встречаемые. Только некоторые старухи не могли примириться с нашим присутствием, иногда ворча сквозь зубы против «проклятых еретиков». У Зубрилова, кстати, кроме хороших лошадей, на которых мы катались, я нашёл череп ископаемого, по его уверению, носорога.

Другим развлечением ссыльных была охота. Можно сказать, что не было ни одного ссыльного, который в той или иной степени не заплатил бы дани этому увлечению. Разумеется, большинство из этих охотников были дилетантами, тем, что называется «горе-охотники». Но находились и настоящие специалисты, в роде, например, упомянутого мною выше рабочего Бойченко, в роде «народоправца» Манцевича и т.д. Эти люди способны были сутками ходить с ружьём по тайге, не спать ночами, подстерегая перелётных уток, гусей и т.д. По для всех нас без исключения охота была полезнейшим спортом. Можно сказать, что никогда без неё мы не ходили бы столько по горам и лесам, не проводили бы столько времени на открытом воздухе, как это приходилось делать в Якутске. Кстати, многие из ссыльных здесь впервые научились владеть огнестрельным оружием...

* * *

Старая ссылка была весьма красочной. Здесь встречалось сравнительно много резко очерченных и интересных индивидуальностей. Молодая ссылка рисуется мне в несколько более сплошном, массовом виде. И среди неё, разумеется, были «характерные головы», интересные фигуры и крупные силы. Но они не успели ещё развиться и проявиться, за ними не было такого славного и яркого прошлого, как за «стариками». И потому воспоминания о них не так резко врезались в память, как воспоминания о старых народниках и народолюбцах. Впрочем, о молодой ссылке, социал-демократах и народолюбцах, я расскажу как-нибудь в другой раз.



Сергей Диковский



Сергей Ястремский

Опубликовано в журнале «Каторга и ссылка» №6, 1923 г. стр. 77-100.

OCR Андрей Дуглас